

## К 80-ЛЕТИЮ Ю.А. ЛЕВАДЫ

*24 апреля этого года исполнилось бы 80 лет Юрию Александровичу Леваде (1930-2006). Мы отдаем дань глубокого уважения памяти видного российского социолога. Предлагаем вниманию читателей публичную лекцию Ю.А. Левады, прочитанную им в клубе Bilingua. Текст предваряется кратким вступительным словом организаторов встречи.*

*Ю.А. ЛЕВАДА*

### **ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СОЦИОЛОГИЯ**

*Юрий Левада — один из тех, кто участвовал в фактическом создании советской социологии в 1960-е, а затем в ее возрождении после погрома 1970-х, состоявшемся в Перестройку. Он был одним из создателей Советской социологической ассоциации, стоял у истоков Всесоюзного (затем — Всероссийского) центра изучения общественного мнения, первой подобной социологической структуры, из которой впоследствии выходили организаторы многих других, долгие годы возглавлял этот центр, пока в ходе его преобразований не ушел оттуда вместе с основным составом сотрудников и не создал Аналитический центр Юрия Левады.*

*С самого начала занятий социологией для Левады было характерно внимание не только к «малой социологии» — изучению, анализу конкретных процессов, но и к «большой» — попытке выявления общих закономерностей функционирования и развития человеческого общества, методологическая рефлексия — попытка уточнения границ и возможностей социологического познания.*

*Если первая лекция Юрия Левады в рамках цикла наших «Публичных лекций» была посвящена достаточно крупной, но все же конкретной теме «Человек советский», то название этой лекции настраивало на ожидание достаточно строгого разговора из области методологии социологии с вкраплениями гносеологии.*

*То, что получилось, оказалось немного неожиданным для значительной части аудитории (это видно и по обсуждению). В центре внимания Юрия Александровича оказалось понимание реальных возможностей социологии, данное через динамику понимания этих возможностей поколением и кругом докладчика. Кроме того, подспудно возникла тема соотношения эмпирических данных, научного анализа этих данных и человеческого, гражданского отношения ученого к результатам этого анализа.*

Лекция прочитана 16 декабря 2004 года в клубе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции “Полит.ру”». См.: <http://www.polit.ru/lectures/2005/01/04/levada.html>. Публикуется с сокращениями.

*Самостоятельную ценность имеют рассуждения докладчика о том, почему мы (Россия) «не такие» и в каком смысле об этом можно говорить, о недавних событиях на Украине и восприятии их в России, а также о том, что же в нынешней ситуации вызывает гражданскую грусть, а что — опрделенный оптимизм.*

*Б. Долгин, Полит.ру*

## ЛЕКЦИЯ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ

**Виталий Лейбин.** Сегодня речь пойдет об ограничениях социологии — о том, что она может и что не может. Тема эта появилась внутри некоторого разговора о том, что социология у нас в стране немного больше и немного меньше, чем социология. В том смысле что в ситуации отсутствия или подавления некоторых институтов опросы и рейтинги имеют чудовищное влияние [на людей]. С другой стороны, проблема социологического и вообще социального знания у нас стоит еще с большей остротой, чем где-либо.

Слово Юрию Александровичу Леваде.

**Юрий Левада.** Как мне и задано «руководством», я немножко поговорю на тему, которую представляю сейчас, а потом буду рад свободному разговору, который, надеюсь, возникнет.

Во-первых, небольшая поправка к слову. Сложилась у нас уже десяток и больше лет несколько странное для постороннего взгляда представление, что социология — это опросы общественного мнения. Это заблуждение. Но оно имеет свое оправдание. Когда-то социология строилась как большая наука с большими претензиями — претензиями на то, что она может объяснить поведение людей, организацию человеческих обществ, движение событий — что было, что будет. С этим она появилась на свет, давненько уже, в 30-е годы XIX века, у Огюста Конта, потом дальше.

Это завлекало людей в большую социологию весь XIX и, наверное, отчасти первую половину XX века, когда все большое и звучное в ней произошло, отработало и оставило (или не оставило) свой след.

Надо сказать, что когда меня соблазнило слово «социология», то я думал о «большой социологии», которая может помочь что-то объяснить и что-то истолковать в том, что мы видим вокруг себя. Дальше, когда мы первый раз с кругом давних коллег и давно уже близких друзей получили возможность в этом духе работать в очень далекие 1960-е годы, оказалось, что не так много можно сделать. Не потому что кто-то мешал — это самое неинтересное из того, что бывает. Дело в том, что там, по-моему, кончался порох.

Было интересно изучить старое, доброе. Но сказать, что с помощью этого мы сумели разобраться в том, что вокруг нас или что в нас самих, я бы не мог. Но была закуска, состоящая в том, чтобы попытаться думать, используя все варианты опыта, любые доктрины и направления, не ограничиваясь ничем.

Когда нам случилось собраться вместе во второй раз, лет уже шестнадцать с хвостиком назад, то оказалось, что прежде всего предстоит заняться одним из вариантов «новой социологии». И вот к «новой социологии» можно отнести с некоторой долей условности опросы общественного мнения — попытку их собрать, истолковать и проч.

Специалистам это известно, для неспециалистов я скажу два слова. На самом деле, почти нигде в мире эти опросы к социологии не относятся. Это прикладные занятия, которые служат в разных социальных областях — от медицины до маркетинга, включая избирательную [электоральную] политику и всю политику в целом. Но, как было сказано, у нас и социология — не социология, и поэзия — не поэзия. Больше или меньше — вопрос точки зрения, но иначе. Иначе, чем там, где существует много давно устоявшихся дисциплин: каждая знает свой огород и в этом огороде копается — удачнее или неудачнее. У нас огородов своих не было. Было общее поле, отчасти — тундра, отчасти — сорняки, отчасти — бог весть что еще. Можно развивать это сравнение еще довольно долго. И все, что начинаешь делать, на все это поле распространяется.

За последние пятнадцать с хвостиком лет, когда всякие ограничения (по крайней мере — теоретические) как будто бы сняты и можно заниматься чем угодно, думая как угодно, мы оказались во многом в том же состоянии, как наша литература или художественная культура: ограничений нет — можете писать или рисовать все, что хотите, а писать и рисовать нечего. По крайней мере, оригинального ничего нет. Возможно, я ошибаюсь, пусть меня поправят те, кто знает лучше, но в нашей области я могу говорить с уверенностью.

Что оставалось? Делать то, что мы могли. Мы могли и пытались превратить изучение общественного мнения в средство изучения общества, в отрасль социологии. Социологии понимающей. Те, кто в этом участвует, знают, что мы не зря придумали такой девиз: «От мнения к пониманию». Мы собираем мнения многих тысяч людей, и мы обязаны их понимать. Обязаны через это стекло, увеличительное или волшебное, кое-что увидеть. Не то что мы придумали особую науку, но особое применение общераспространенным способам мы попытались придумать — иногда успешное, иногда — нет. Условно говоря, я называю это «малой социологией». Не путая с «большой». Но имея в виду то, что мы здесь стоим и пытаемся что-то сделать.

Иногда мне приходится отвечать на вопрос, оправдывает ли себя это дело. Оправдывает ли сейчас, когда мы (наша организация) давно не монополисты на этом поле. Когда как будто копают его разные люди, более или менее похожими инструментами, но цели у них разные. Кто-то сажает, кто-то канаву делает, кто-то мост строит. А если говорить точнее, то используется то, что получается, для самых разных целей — довольно простых и понятных. Чаще всего, особенно если учитывать денежную сторону дела, это маркетинг, задачи, связанные с продвижением товаров, брендов, услуг на наш необъятный и бесконечно бедный рынок. Этот процесс сопровождается множеством всяких исследований. Это иногда интересно, иногда не очень, но зато оказывается способом материально обеспечить многое другое.

Существует также обилие политической суеты, если не сказать хуже, которая тоже использует разнообразные показатели, данные, рейтинги. Огромная толпа людей — иногда сведущих, а иногда — мало сведущих в самой технике этой работы здесь подвизается, предлагает свои варианты ответов, заполняет ими разнообразные политтехнологические и околополитические заведения и т. д. Это сложнее, тут иногда встречаешься с ситуацией, когда не хотелось бы быть рядом — ни за столом, ни в списке через запятую. Но что делать? Приходится. Это нет возможности зачеркнуть. Это обязывает

быть больше, чем просто одним из возможных полей или центров. Приходится быть самим собой и тащить свое дело при любом ветре, при любой погоде, не очень оглядываясь на тех и на то, что рядом, поперек или как-нибудь еще иначе.

Больше шестнадцати лет мы так работаем. Иногда бывает интересно, иногда бывает скучновато. За свою работу не стыдно, а вот результат иногда пугает. Пугает, заставляет ежиться... Но что делать?.. К сожалению, это не наша продукция такая, это мы живем в таких условиях и нам приходится разбивать наши собственные и чужие иллюзии. Иллюзии о том, что мы освободились и нашли новую дорогу (я говорил об этом немножко в прошлый раз, применительно к человеку — это я сейчас постараюсь не трогать), о том, что достаточно хорошего знания — и можно будет верную дорогу подсказать. Ну, если не правящим людям, то остальным — оппозиции, критикам. Оказывается, что все это довольно трудно и подсказывать — скорее всего это вообще [не] наше дело. Наше дело состоит, прежде всего, в том, чтобы понимать. Если сумеем понять, можно строить какие-то предположения о том, что может быть дальше.

Я хочу немножко сказать о том, что мы видели эпоху наших иллюзий, лет пятнадцать тому назад. Даже не пятнадцать, а семнадцать–восемнадцать. Видели эпоху разочарований в этих иллюзиях, видели ситуацию, которую многие считали беспросветной. Сейчас видим некоторые проблески, имеем некоторые осторожные надежды, что мы увидим не только эту ситуацию, но и то, что получится после. Повторяю: осторожные. Понятно, что и в этом зале, и в нашей работе есть множество людей, несомненно более молодых, которые наверняка много чего увидят. По крайней мере, хотя бы что-нибудь другое.

Люди вроде меня могут иногда удовлетворяться тем, что и так довелось увидеть больше, чем они когда-нибудь рассчитывали. Это я могу сказать с уверенностью — когда я представлял себе, что я буду делать, что я увижу в этой жизни в области своей деятельности. Я понятия не имел, что увижу столько поворотов, переломов, что окажутся они и болезненными, и интересными, чем-то обнадеживающими. Это такая немножко нравственная сторона дела, которая присутствует при любой работе, при любом ее варианте.

Мы увидели некоторые вещи, которые удивляли. Сначала ситуация ранней перестройки. В будущем году мы будем вспоминать, что с тех пор прошло уже почти двадцать лет. Ситуация постепенного, даже, может быть, скрипучего приоткрывания дверей в нашем замкнутом доме (образ дома из Высоцкого) и надежд на то, что становится все светлее, воздух становится чище. Оказалось, что это не так, прежде всего потому, что не оказалось у нас людей, готовых для того, чтобы дверь открыть и воздухом дышать, людей приготовленных, способных, потому что все это работа тяжелая. Это не оправдание, это просто исторический факт, который приходится принимать.

Обычно люди редко бывают готовы к тому, что с ними случается. А с большинством из нас действительно нечто случилось — казалось бы, хорошее и приятное. Но оказалось, что случилось неожиданное и довольно сложное. Ломалась ситуация и, к сожалению, ломались люди — и сверху, и в середине. А те, кто был не сверху и не в середине, часто ничего и не успели заметить. Это старая тема.

Тема новая состоит в том, что сейчас у нас появились некоторые новые, некоторые отчасти старые проблемы и задачи для изучения. Я вовсе не собираюсь перечислять всякие события и имена, о которых все знают. И вообще это не мое дело и неинтересно.

А, вот, что мы увидели? Мы увидели, как иллюзии тают и движение превращается в некоторое подобие стоячего болота. Раз есть болото, то в нем и черти заводятся, то в нем и люди вязнут, и все, что вы еще хотите.

Это метафоры всё, но их смысл более или менее понятен. Реальная проблема — это проблема того предмета, который мы видим. Ведь нашими глазами — глазами исследователя общественного мнения или, иначе говоря, исследователя массовых явлений, поведения массы — видятся не блестящие, не умные мысли или яркие поступки (это тоже было), видится поведение людей, которые подобны массе. Массе иногда чуть более твердой, иногда чуть более подвижной, но человек теряется в ней, человека здесь не видно. Когда мы опрашиваем тысячу, две тысячи людей, когда мы складываем это за несколько лет и получаем десяток тысяч, мы получаем некоторое среднее состояние — не мысли, а того, как люди выражают свое положение, чего они хотят. Мы видим, что это не очень интересно. Наполовину это повторяет то, что написано в газетах и сказано по телевидению. Наполовину это повторяет те стереотипы слов и мыслей, к которым люди привыкли раньше.

Мы, в общем, практически перестали думать о том, что люди прячутся — они не прячут от нас своих мыслей, они просто других не имеют. Кстати, это относится не только к массе, но и к тому, что иногда называют элитами, и даже к верхней части элит. У них то, что на языке, то и в голове. Другого просто нет. Можно что-то спрятать, но иметь более богатое и более серьезное неоткуда.

Это открытие не самое приятное. И мы видели, как легко радостные иллюзии уступают место унынию, подъем чего-то прогрессивного уступает место усталости, раздражению, злобе. Причем злобе, которая питается инфантильными, патерналистскими или националистическими комплексами, включая агрессию, озлобление, попытку изолироваться от всех. Спустя десяток с лишним лет после первых радостных иллюзий мы увидели, что такие настроения чуть ли не без остатка захлестывают общество.

Самое неприятное состоит в том, что у нас очень трудно искать дифференциацию людей, тех, которые называют себя левыми, правыми, демократами, патриотами и даже «пофигистами» и еще кем-то. В этом духе у нас тоже есть определенная часть, которая строит свою жизнь, свое поведение на том, чтобы цинично дразнить всех остальных, да и самих себя тоже; они шумят в залах, на улицах; иногда это неизбежно, но в целом печально: если наша энергия, наше мышление находят себе такие выходы.

Тем интереснее заметить моменты, когда меняется ситуация или хотя бы намечается ее перемена. Что я имею в виду? Мне приходилось много раз говорить об одной ошибке, которую часто делают люди, рассматривая данные, например, наших опросов или каких-нибудь других или складывая их вместе, когда они приходят к выводу: «Тут у нас все думают как один. Все поддерживают одного, и никто ничего больше не хочет и не может — такова наша судьба». Между тем у нас есть и такие, и другие — разница только в их весе.

Возьму самые последние данные, которые получил вчера. У нас 69% одобряют деятельность президента, 28% его не одобряют. Эта цифра довольно стабильная, она с небольшими колебаниями держится уже довольно давно. Можно смотреть на нее по-разному.

Можно сказать — это удивительно, чтобы такое огромное большинство — две трети — расписывалось под одобрением тех лиц и той политики, которые редко выдерживают критику (и это сами люди знают, проверено другими вопросами и каждый месяц проверяется). Но ведь можно посмотреть на то, что есть более четверти людей, которые этого не одобряют. Много это или мало? Зависит от того, какой вес они имеют. Вообще говоря, если играть в чистую статистику, то это серьезная часть. Это как будто меньшинство, но серьезное. В период нашего славного прошлого, которое уже мало кто из присутствующих помнит (и это прекрасно!), опросов боялись. Боялись, между прочим, потому, что вдруг они покажут 3–5% (уж никто не думал про 10%), которые не согласны. И это рушило бы картину единодушия, единомыслия, монолитности всего. Это одна из причин того, что ни в одном тоталитарном обществе опросы не прижились. Если бывали, то секретными, для служебного пользования, потому что никто не должен был знать, что кто-то не согласен.

В некоторые периоды бывало больше, бывали периоды, около десятка лет назад, когда было примерно fifty-fifty. Но мы имеем дело не с чистой статистикой. Реальная жизнь организована, и в ней больше весит не тот, у кого больше голосов, голов, рук, бюллетеней, а тот, у кого сила. Сила, прежде всего, у власти.

Сила власти — это не только прямое насилие, но и разнообразное давление на людей. Поэтому когда сейчас мы обсуждаем такую вещь, мы можем сказать, можем представить себе, что то число людей несогласных могло бы быть значимо. Могло бы быть сильным. Если бы за этим стояла какая-то организованная — пусть даже в умах — человеческая сила. До сих пор у нас этого нет.

И когда мы смотрим, кто же у нас несогласен, то видим, что это люди, которым стало плохо за последние годы, — это, прежде всего, старые люди, которые думают, что в старой жизни нашей было лучше. Это, прежде всего, если говорить об оппозиции, консервативная оппозиция. И в этом качестве она остается слабой, хотя ее много.

Власть считает возможным ее довольно беззастенчиво дразнить. Вся история с заменой льгот, о которой уже несколько месяцев подряд шумят в стране и которая сильно беспокоит людей и сейчас, придумана без учета реакции людей, которые могут быть обижены, или с простым несколько циническим расчетом: что эти люди могут сделать? Это, прежде всего, старые люди, пенсионные люди. Они, даже если соберутся где-нибудь выйти на улицу, замерзнут и разойдутся. На это примерно все и рассчитано.

Сила протеста может быть значимой, если за ней стоят сильные, более молодые или связанные с чем-то новым. Масса может превратиться во что-то иное, если в ней не просто статистически насчитывается большинство и меньшинство, а если эти составные части сопоставлены друг с другом, могут конкурировать, договариваться, в какой-то форме противостоять. Хотя я не зря наставил разные оговорки — противостояние уличного типа, баррикадного

типа, например, в XX веке, веке больших и постоянных армий и всяких спецслужб, стало нереальным. И в XXI-м оно таковым остается. Реальными являются другие способы давления, в том числе и организованного. Это то, до чего мы либо не дожили, либо пережили. Я думаю, что скорее не дожили. Какие-то элементы такой ситуации мы видели у себя, прежде всего, осенью 1991 года. И то — в некоторых центрах. Точнее — в одном, в Москве. Это играло не главную роль, немножко подсобную, как мне кажется, но играло ее.

Однако главное даже не в этом, главное то, что нашлись люди — не очень много, десятки тысяч, которые считали, что им есть чего добиваться, и которые образовали на краткое время — больше не понадобилось — реальную силу. После этого мы ее не имели.

Все оппозиции, которые мы имеем сейчас, принадлежат прошлому. Сколько мы ни смотрим на этих людей, на их возможную поддержку, людей приятных, иногда замечательных, самоотверженных, мы не видим здесь перспективы. Перспектива должна быть в чем-то другом. Вероятно, в других людях, в другом способе превратить массу в народ. В каком? Что мы видим в последние годы и в последние недели? Мы видим ситуации, когда не здесь, а в других местах, в других обществах, странах происходили какие-то изменения чуть ли не физико-химического порядка. Когда происходила кристаллизация человеческой массы, когда появлялась структура, сила, и вдохновение, и кусочки организации, и, по крайней мере выдуманные, лидеры, и определенные цели — отчасти неизбежно иллюзорные.

Мы видели это в разных условиях, например в Чехословакии, дважды: отчасти в 1968-м, отчасти в 1989-м. Мы видели это в Польше — главным образом, в 1980-м, а потом — как повторение — в 1989-м и дальше. Мы видели и разочарование, и усталость, и подавленность, но кое-что видели.

В 1980 году я, как, может быть, и еще кто-нибудь из присутствующих, пытался внимательно следить за тем, что происходит в Польше с «Солидарностью». Это было необычно. Я тогда встретил такое рассуждение о национальном характере в этой стране: поведение поляков, как соломенный огонь, — легко вспыхивает, быстро прогорает. Потом подумал, с чем же можно сравнить поведение у нас. По крайней мере, солома должна быть основательно мокрой и даже основательно подгнившей. Для того чтобы она загорелась, то ли высокая температура нужна, то ли подсушивать необходимо — результат будет таким же. На самом деле там была излишняя самокритичность, потому что результат был. Никогда не тот, которого хотелось, но значимый для изменения судеб страны.

В более близких к нам исторически и социально местах мы видели явление, которое до сих пор у нас не объяснено. В 1988 году, когда в яростном и кровавом ключе возник карабахский вопрос, армянские социологи говорили мне: «Мы стали другим народом. У нас появилась цель. У нас появилась борьба». После этого, как вы знаете, лидеры этой борьбы стали лидерами страны, правда, из этого мало чего хорошего вышло. Это был случай национальной мобилизации, острой, неожиданной, опрокинувшей все советские каноны отношений между людьми и жизни в государстве, но дальше это оказалось сооружением тупика, из которого страна еще не вышла. И тупик этот выражается в кровавой смене властей и во многом другом. Сейчас там есть другие ожидания, но это особый вопрос.

То, что мы видим в последнее время, — это, разумеется, Украина. Уж самая похожая на Россию соседняя страна. Может быть, более похожая, чем Белоруссия, которая ближе по языку и по привычкам, но Украина все-таки и больше, и развитее, и разнообразие здесь может быть сравнимо с Россией. У нас тоже есть и Запад, и Восток, и Север, и Юг, и всякая такая всячина, и исторические традиции, немного выдуманные, конечно, но тоже есть и работают.

Это требует отдельного разбора. Я сюда как следует входить не буду, но думаю, что то, что мы здесь видим, — это особый случай превращения мас-совидного общества в организованный народ.

Мы не все знаем (по крайней мере, я довольно мало знаю) истоки, ход и тем более — возможные результаты того, что происходит. Но то, что произошло до сих пор в Киеве и вокруг него, по-моему, очень важно, потому что дает новый тон и новый взгляд на возможности развития в странах нашего типа. Возможность национальной мобилизации.

История всегда делает свое дело — независимо от того, что хотели бы отдельные силы, отдельные люди. Здесь, по-моему, как и во всех больших явлениях, работает то, что Гегель называл «хитростью истории». Популярно говоря, это такое явление, когда каждый человек каждый индивид любого чина и сословия — вплоть до великих императоров и полководцев — преследует свои довольно мелкие цели: хочет славы, наживы, успеха, самоутверждения и т. д. и делает то, что считает нужным, а Абсолютный Дух идет своей дорогой через все это. Этот Дух себе довольно трудно представить — он больно разумный персонаж, а таких не обнаружено, но в исторической сумме получается действительно то, что может получиться, а иногда — то, что должно получиться.

Мне остается сказать два слова на серьезную и, может быть, печальную тему: почему мы «не такие». Я думаю, что мы «не такие» и мы долго будем «не такими». Я думаю о двух способах перехода людей из одного стояния в другое. Один — это дифференциация, расслоение, выделение не просто значимых элит, но элит думающих, способных задавать цели, термины, способы действия, пускай и не слишком надежные. Второй вариант — это кристаллизация массы. То, что можно назвать общей или национальной мобилизацией. У нас ни одного ни другого сегодня нет. Остается смотреть, думать, перелистывать календари до не знаю какого века — может, XXII-го.

Почему так? Слишком разобщенное общество, лишенное центров притяжения. Разобщенное не только в смысле наших просторов — тундры и прочей Сибири — разобщенность людей, атомизация, доведенная до такого предела, который трудно найти на всем земном шаре. Как горошины в мешке: мешок их удерживает, уберешь мешок — рассыплются. Люди, для которых центральной задачей будет — уберечь себя. И если есть беда, и с кем-то плохо, то что делают люди? Утешаются, что не со мной. Или, как у Галича было, стучат, но пока в другую дверь. Не к нам — к олигархам или к каким-то горячим головам. А мы пока живем — чай пьем, еще что-нибудь. Пока продолжается это, организация серьезная нам не светит. Правда, можно возразить: мы никогда не видели общества. Страны с всеобщей мобилизацией. Всегда активно мобилизованными, знающими свои интересы, были центры. Все российские перевороты, революции, попытки революций — как бы их ни называть — происходили в двух столицах, а то и в одной. На вто-

рую распространяли потом насильно — то ли из Питера в Москву, то ли наоборот. Вероятно, мы живем в ситуации, когда такая особая выделенность столичной публики давно кончилась. Публика растворяется, выделенность и дифференциация более организованной части вряд ли реальна. Что касается проблемы всеобщей мобилизации, которая требует насыщенного раствора и брошенной туда жемчужины, то нет насыщенного раствора.

На самом деле, все те случаи, которые я перечислял, во-первых, подготовлены были раньше. Во-вторых, там всюду был особый фактор, фактор двусмысленный — фактор национальной мобилизации, связанный с самоутверждением страны — скрытым или явным. То ли с освобождением, то ли с присоединением (армянский вариант, например), то ли с утверждением себя (это украинский вариант). И этот фактор сильный. В России его нет. И это наше наследие империи. Империя практически неспособна к такому действию. Она способна тосковать о своем прошлом, а из этой точки ничего полезного не родится. Ничего, что можно было бы продвинуть вперед.

Вчера мы получили очередную порцию данных о том, как наш народ относится к событиям в Украине. И это довольно печальное чтение, могу вам сказать. Люди не понимают, что происходит, не хотят этого понимать, прежде всего, потому что большинство людей у нас не видит, что Украина — это заграница. Такой вопрос мы задали месяц назад и получили, что у нас чуть больше четверти — 28% — понимают, что это заграница. Остальные думают, что это вроде нашей провинции, случайно отгороженной какими-то таможенными значками, словами. Тем более что эта точка зрения поддерживается усиленно не только привычками людей, но и всем нажимом телевидения и прочей пропаганды. Хотя в последние недели высшая власть этого стала немного пугаться, чуть-чуть осознавать, что эта дорога опасная. Люди не понимают, и отсюда им кажется, что в лучшем случае это борьба между кланами. Хорошо хоть еще не так много людей думают, что это дело враждебных сил, — меньше 20%.

Поэтому полнейшее непонимание всего. Это обрекает нас на повторение вечной ситуации, о которой говорил Герцен: в Европе был прогресс, а нас за это били. Били для того, чтобы мы на эту дорогу не встали. Но я хочу обсуждать не это, а то, что к этой дороге мы еще очень не готовы.

На этом я и кончу, сказав такую заключительную фразу: если наше ремесло позволяет нам кое-что (в том числе — печальное, неприятное) видеть, и другим образом увидеть это сложнее, значит оно себя оправдывает. Поэтому, если работать серьезно и честно, то не стыдно. Хотя не всегда весело.

*(Аплодисменты)*

**Лейбин.** Друзья, мы сейчас приступим к обсуждению. По традиции я задам первый вопрос с тем, чтобы попытаться дать линию обсуждению, которая мне кажется интересной. А вы можете потом ее оспорить.

Страшно интересно, особенно в части, где была, с одной стороны, позиция аналитическая, с другой — гражданская (в смысле — печали). Я хотел бы разобратся как раз с этими двумя взглядами на вещи... рассмотреть социальную жизнь России как ей присущий ресурс... правильно ли я понял из вышесказанного, что используя методы малой социологии, можно выяснить, что общественное мнение в России не отвечает каким-то критериям, необходимым для развития. Интересно было бы узнать, каким, и какого рода

критерии, из какой области мы можем предъявлять к этому общественному мышлению?

С другой стороны, хотелось бы понять, в те эпизоды революции, которые на Украине или в Польше, в Армении, удовлетворяет ли идеология или идеологизация революционных масс критериям сложности, простоты или какому-то другому критерию, который мы можем придать для понимания того, что произойдет после этой революции. Понятно, что некоторые революции заканчивались тем, что ничего хорошего не происходило. Вот, интересно, есть ли какая-то историческая ценность, можем ли мы как-то ее понять, для того, чтобы сейчас сделать гражданский выбор: нам нужна революция или какой-то другой процесс.

**Левада.** Во-первых, я старался слово «революция» почти не употреблять. Оно содержит небольшой заряд позитивного знания и довольно большой комплекс увлечений XIX века. Революция — это переворот, который меняет правила игры и чаще всего меняет игроков — по крайней мере, наверху. Он требует большого количества усилий, заблуждений, крови и долгого разбора с тем, что получилось.

Мне кажется, что в последнее время такого рода процессы, вообще говоря, почти не происходят. И революциями называют по привычке что-то вроде серьезного переворота. Говорят «оранжевая революция» применительно к Киеву. Есть признаки какой-то крутой перемены, разрушения правил игры? Все есть, но в условиях очень хорошей организации, если не считать закулисной стороны. На улице никто никому на ногу не наступил, а в кабинетах, если верить сообщениям, средневековые убийства совершаются с помощью ядов. Так? Все сочетается в одном узле, о чем даже и подумать сложно.

Я не говорил о том, что должно быть. Надо быть обладателем абсолютных иллюзий и абсолютного знания, чтобы говорить: у народа должно быть то, должно быть се. Я могу говорить только о том, что есть, чего нет, что получается сегодня, что сейчас вряд ли получится. Дальше я выхожу за пределы научного взгляда и начинаю действовать как фантазер, как махинатор. Этого я делать не хочу, хотя иногда нога срывается, идешь — скользит.

**Райк Базян.** У меня три вопроса к Вам.

Первый. Не считаете ли Вы, что способ опроса неидеальный? Меня два-три раза опрашивали: я не смог искренне ответить, потом жалел по поводу того, что сказал. Нельзя ли придумать нечто более адекватное?

Второй вопрос. Вы сказали, что мы слишком разобщены. Я хочу добавить: слава богу. Потому что вообще-то толпа — это ужасная вещь, а сплоченность, насколько я понимаю, — это толпа. У меня лично возникает протест, когда я попадаю в толпу. Две страны — СССР и США — лучше всех управляли толпой. И сейчас, наверное, управляют. Когда я попал в аэропорт в США, первое, что я увидел, был портрет президента и флаг. Это мне очень наши парады напомнило. Не являются ли эти государства примером того, как они идеально используют социологию для одурачивания толпы?

И третий вопрос. Насколько я понял, социология совсем не применяет психологию. Или вы не сказали? А как можно рассуждать о поведении человека без психологии? Спасибо.

**Левада.** Спасибо за вопросы. Видите ли, я полностью ответить не могу. Проще всего последнее. Социология особенно, например, при использовании

так называемых качественных методов, в глубоком интервью, использует большой ресурс психологических знаний, но это особая проблема.

Первый вопрос. Вы не сразу ответили то, что хотели. К сожалению, это бывает. Но опыт проведения массовых опросов говорит о том, что интереснее всего зафиксировать первую реакцию людей на вопрос. У одного она неудачная, другому сказать трудно, но мы спрашиваем тысячу человек, три тысячи человек, а потом складываем — получается и больше. И вот здесь мы получаем что-то вроде состояния мнения в целом.

По поводу толпы. Толпой пугали людей в социологии и психологии XIX века. Толпа — штука сама по себе страшноватая, толпа не способна думать, толпа не способна уважать человека, толпа может быть яростной, радостной, напуганной. Но далеко не всякое человеческое множество — толпа.

Когда у нас были первые большие массовые мероприятия зарождавшейся демократии — 1988–1991 годы, 300 тыс. человек приходило в Лужники слушать Андрея Дмитриевича и других. Поначалу боялись, что люди друг друга подавят, тем более что внешней охраны, милиции почти не было. Но это множество людей оказалось удивительно вежливым, внимательным и никому на ногу не наступили. Не было Ходынки, не было страсти. Между прочим, такое же впечатление передают люди с киевского Майдана Незалежності. Люди могут быть не только толпой.

Ну, насчет Америки с флагами и прочим. Я подозреваю, что вы были после 11 сентября, когда заработал фактор национальной мобилизации. В чем-то она может быть противной, а в чем-то ей можно позавидовать. Мы на нее тоже не тянем сегодня. Даже в ситуациях страшных, террористических.

**Рустем Максудов.** Мне кажется, что люди не должны понимать, что происходит на Украине. Я считаю, что это интеллигенция не может сама понять и разъяснить другим. Это первое.

Второе. Мне кажется, что тысячи инициатив сегодня есть в России. И слава богу, что люди не выходят на улицы, поддерживая их, потому что эпоха революций прошла. Я помню, как они выходили на улицы в 1993 году, какие ужасы творились.

Вот то, что интеллект сегодня в России сопротивляется этим инициативам, не хочет их поддержать, замкнут в своих ведомственных учреждениях, говорит о том, что что-то неладное происходит в изучении общества. Потому что Движение солдатских матерей, требующее военную реформу, — это не задача военных, это задача знания, которое понимает, как осуществить военную реформу, судебную реформу, реформу уголовной политики — реформу разных областей нашей деятельности. И то, что этого не происходит, я считаю свидетельством того, что интеллект не принимает этих инициатив, не хочет их интерпретировать как мультидисциплинарные и вносить в них свой вклад.

Выйти протестовать против чего-то? Я просто ставлю это под вопрос. Как и весь пафос того, что у нас что-то с населением — активно-неактивно, атомизировано. Если заглянуть с другой точки зрения — тысяч, десятков тысяч инициатив, которые сегодня делают, — все наоборот, и самая подвижная прослойка сегодня — это средний бизнес, который понимает, что происходит. И пример Ходорковского — это пример первого бизнесмена, который стал проводить институциональные инициативы — он организовал «Открытую Россию» и т. д.

**Левада.** Спасибо за замечание. большей частью я готов согласиться. Я никак не решился намекать (скорее наоборот), что когда люди выходят на улицу и бушуют, — в этом есть много полезного. Лучше социальный договор, чем забастовки. Но если есть люди на улице, то лучше, чтобы это были разумные, спокойные, организованные люди. Как на Майдане Незалежності, а не как на Ходынке или как 9 января 1905 года (столетие чего мы будем скоро отмечать).

Насчет того, что это все можно решать с помощью мультидисциплинарного подхода, то, извините, я бы усомнился.

«Солдатские матери» — прекрасное движение, но они, к сожалению, не достигают больших успехов. Но происходит это потому, что существующие общественные институты, весь порядок из всех сил этому сопротивляются. Что касается бизнесменов, то вы привели пример далеко не бизнеса. Но ситуация похожа.

**Лейбин.** Вопрос относился как раз к Вашей фразе о печали, некоторой позиции по отношению к эмпирическому материалу. Откуда происходит эта печаль и как она соотносится с исследовательской позицией? И могут ли эмпирические данные быть печальными или не печальными, разве не всякое знание дает силу? Не всякое ли знание может быть интерпретировано в позитивном ключе?

**Левада.** Видите ли, само по себе никакое знание печальным быть не может, но отношение к нему может быть разным. Есть латинское изречение, которое повторял потом Френсис Бэкон, о том, что знание всегда есть сила. Но есть одна книга, в которой написано, что силой является незнание. И это тоже имеет под собой основание. Еще в одной книге написано, что многознание рождает печаль. Моя же задача, если я работаю как ученый-исследователь, в том, чтобы не печалиться и не радоваться, а понимать. Это слова Спинозы. По-моему, это эмблема научного знания в общественных науках. И в нашем призыве понимать, из мнений строить наше понимание, тоже содержится эта мысль. Я требую от себя и от людей, которые работают, не печали, а трезвости.

**Кирилл Устинов.** Я опять же о печали. Общаясь с людьми и глядя вокруг на то, что происходит, я, как мне кажется, замечаю некоторые узоры восприятия, когда люди предпочитают старое новому, предпочитают бояться неизвестного тому, чтобы относиться к нему с интересом, не интересуются незнакомыми людьми, не доверяют чему угодно сделанному, искусственному, предпочитая традицию или естественное. Это же типичные черты средневекового сознания. Вам не кажется, что для действительной смены картины нужна смена восприятия подобно Реформации, Ренессансу и Просвещению — опыт, который нам, каждому человеку и обществу, нужно проделать над своим восприятием, чтобы обрести некий оптимизм деятеля, интерес к незнакомому, готовность делать?

**Левада.** Видите ли, это красиво звучит. Все названные вами перемены — это смены социально-исторической оптики, которые играли в свое время огромную роль. Возможно ли это сегодня? Мой глаз и моя дисциплина этого сегодня не позволяют видеть и утверждать.

Еще раз говорю: дело не в печали, дело в трезвости. Печаль, которая вырождается в зеленую тоску и в российское самооплевывание — это

плохая штукавина. Нужна трезвость, нужно понимание того, что происходит. Помаленьку, может быть, научимся.

**Лейбин.** Юрий Александрович, все-таки, кажется, мы не сдвинемся дальше, если не разберемся с печалью.

**Алексей Левинсон.** Вопрос с печалью более чем ясен. Общество наше делится на две части: одни наблюдают то, что происходит на Украине с печалью и завистью, другие — с печалью и злостью. Печаль присутствует и тут, и там — деваться от нее некуда....

Мне кажется, что в лекции было высказано одно очень существенное соображение: наше общество не продуцирует ни элиты в процессе структурирования (эту точку зрения высказывали многие эксперты на протяжении длительного времени), ни общественную солидарность, которую дает Украина. Для объяснения докладчик взял такой факт: общество очень сильно атомизировано. Способно ли наше общество дифференцировать и вырабатывать элиты, которые несут смыслы дальше в жизнь, и способно ли оно вырабатывать солидарность? Мне кажется, зал на это должен ответить. А докладчику я обращаю вопрос: почему Вам кажется, что общество наше атомизировано и по какой причине, по Вашему мнению, оно атомизировано. Почему оно отличается этим от других. Спасибо.

**Левада.** Почему? Потому что в нашем обществе не сегодня и даже не в советское время, а раньше были разрушены те формы связей, которые характерны для традиционных обществ. В частности, для средневекового. Не знаю, можно ли говорить, что у нас было Возрождение и проч., но и для этого общества это было характерно тоже: всякие сословные образования, элитарные, культы, традиции — это все было перемолото и не заменено устойчивыми связями другого типа. Другой тип мы знаем в Америке, в Европе, то, что считаем условно чем-то более нормальным, чем-то более развитым.

Советское общество плодило не коллективность, а что-то вроде всеобщего заложничества, где каждый отвечал за другого в смысле: вынужден был страдать за другого, а не как-то помогать ему.

С наследием этим мы и имеем дело. Не я, а до меня употребили пример крупнейшего нашего бизнесмена. То, что с ним произошло, в первый момент вызывало шок. Полстраны, по нашим опросам, говорило, что они были этим потрясены, удивлены, возмущены. Прошло три месяца, год прошел — развеялось все удивление и возмущение. Ни страна в целом, ни ближайший к нему круг крупнейшего интеллектуально развитого бизнеса не проявляют сегодня ничего кроме робких и редких упоминаний. Почему? Потому, что бояться, как бы их не съели. Неосновательно бояться — такой стиль. К сожалению, это тот стиль жизни, с которым нам приходится сталкиваться.

Инициатив всяких, наверное, есть много. Социально ответственных и серьезных — мало. Последователей у этих инициатив тоже мало. А залушек много.

Если говорить об элитах, то скорее всего мы живем в обществе, которое поедает свои элиты и норовит их растворить, лишая смысла и слово «элиты», и слово «интеллигенция», например. А других способов увидеть цели, увидеть смыслы — нет. Вот причина многих коллизий, с которыми мы сталкиваемся сегодня, завтра. Ну, конечно, это можно разбирать и более детально, и более конкретно, но я это сегодня не брался делать.

**Григорий Тарасевич.** Я хотел бы вернуться к теме лекции — «Что может и что не может социология». Первый вопрос звучит так: насколько социология может прогнозировать? Условно говоря, понятно было, что выборы на Украине кончатся большим политическим скандалом. Это можно было вполне предположить заранее, но можно ли было спрогнозировать именно такой Майдан Незалежності, такие улицы Киева и других городов?

Второй вопрос более частный: согласно данным вашего Центра, уже года четыре, даже больше, подавляющее большинство населения России очень своеобразно относится к войне в Чечне: во-первых, большинство не верит, что там идет контртеррористическая операция и считает события войной, очень большой процент населения считает, что единственный выход — это мирные переговоры. Откуда берется это большинство при таком количестве пропаганды в обратную сторону? Спасибо.

**Левада.** Очень простое объяснение. Как вы знаете, при десяти годах войны, которые мы пережили и продолжаем переживать, войны все более бессмысленной и безуспешной, мы не видели ни одного проблеска здоровой мысли, который может указать выход, ни наверху, ни внизу. Почему общественное мнение с начала, по крайней мере, второй войны ее бурно приветствовало вместе с новым начальником, а потом перестало? Очень просто — очень много потерь. Сначала казалось (как казалось и в первую войну), что это будет просто такая прогулка устрашения: напугаем, все сдадутся, все будет прекрасно. Не вышло. Жертвы не уменьшаются, а особенно в этом году растут (по разным данным). Это людей тревожит. Их тревожат жертвы среди русских солдат.

Сколько там населения погибает и сколько погибает этих злодеев, бандитов, террористов, сепаратистов — этого вообще никто не считает. А цифры, которые мы видим, заведомо фантастичны.

Но организованного движения нет. Превратить это в обвинение против высшего руководства очень мало кто пытается. Здесь упомянуты были «Солдатские матери» — прекрасное, интересное движение. Проявило оно очень интересную и на сегодняшний день смелую инициативу — самим выступить как организатор переговорного процесса. Большинство населения, 64%, их поддержало месяц тому назад. Но понятно, что им мешают. И никто им в этом отношении помочь не решится. Такова наша картина. Она сложная.

**Дмитрий Ермольцев.** Вы сказали, что на фоне мрака, который Вы наблюдаете, в самое последнее время Вы видите некоторые проблески. Что Вы имели в виду? В каком месте сохнет солома?

Потом Вы сказали, что оппозиция — это все люди вчерашние. Где Вы видите или можете предвидеть моменты складывания этой реальной оппозиции в каком-то обозримом будущем?

**Левада.** Светлые точки есть. И я думаю, что наше сегодняшнее собрание можно к их числу в каком-то смысле отнести. В другие времена это было сделать трудно, хотя что-то в этом роде, по крайней мере, за последние двадцать-тридцать лет мы всегда старались поддерживать. Может быть, в несколько меньших масштабах.

Я думаю, то, что люди не поддерживают войну, — это хорошо. То, что люди лишены слепого восхищения начальством, — это тоже хорошо. То, что

отчаянные призывы к агрессивной мобилизации, которые мы слышим с трибун последние два-три месяца («вокруг нас враги, надо с ними расправляться»), — это все-таки за гранью общего поведения в стране. И когда мы недавно спрашивали, как люди относятся к тем, кто выступает за прекращение войны в Чечне, только 6% сказали: «Это враги и предатели». А конкретный случай с «Солдатскими матерями» получает поддержку. Я думаю, что это светлые моменты. Есть десяток процентов (может, чуть-чуть больше) тех, которые с восторгом и интересом смотрят за тем, что происходит на Украине. Можно еще найти что-нибудь в любом варианте.

Беспросветности никогда не было и нет. Но как из этих светлых точек составить хотя бы один светильник, — это не задача науки, это задача, вообще-то говоря, общественных перемен. Может быть, и доживем.

**Вопрос из зала.** Мой вопрос: чего добивались те, кто выходил на улицу, чего они достигли? И какое это имеет значение для тех, кто нами правит и командует?

**Левада.** Вы знаете, нет однозначных явлений в мире. Люди, которые выходили в период светлых иллюзий, действовали по примеру прошлых времен. Они думали, что что-то утвердят и продвинут к лучшему. Что из этого получилось? Разбор отдельный. Хотя так или иначе старая жизнь кончилась. И вряд ли ее кто-нибудь будет способен возродить.

Для людей, которые это делали, это имело значение. Может быть, одни разочаровались, другие скинули, третьи умерли или уехали, но я думаю, что Отчизна помянет их. Я вовсе не призываю кого-нибудь выходить. А если уж люди выходят, то нужно иметь очень хорошую закваску и очень хорошую подготовку. Если это есть, многое может получиться. Что касается того, что думает по этому поводу власть, — это надо у них спрашивать.

**Елена Гусева.** Скажите, пожалуйста, как нынешняя социология отвечает на старый наш вопрос. Владимир Ильич Ленин говорил, что бытие первично, а академик Лихачев, что сознание. Что социология говорит?

**Левада.** Это не вопрос социологии. Это вопрос одной старой философской школы, который сейчас разбирать не хочется. Социология изучает действия людей, которые всегда связаны с их сознанием, — одно без другого не ходит. Это учебник, и неинтересно обсуждать.

**Лейбин.** Сейчас я понял из вопросов и ответов про эту грусть и про то, почему это неважно. Речь же шла о том, какая картина мира, какие представления стоят в оценочной позиции по отношению к эмпирическому материалу. Вот Алексей Георгиевич выдвинул гипотезу, что это представление о том, что социум либо должен выдвинуть элиту, либо должен как-то организоваться, совершить и выдвинуть какую-то мобилизационную модель и что пока у нас ни того, ни другого пути не наблюдается. Еще один из выступавших сказал, что такой ценностью является наличие или отсутствие оппозиции в данный момент. Я хотел разобраться, в этом ли картина мира и достаточно ли такая философская, мировоззренческая картина для того, чтобы работать с таким материалом, как российское общество. Может быть, это не тот вопрос, на который нужно отвечать. Я просто фиксирую то, где остановилось рассуждение, по-моему.

**Левада.** Видите ли, в любом нормальном обществе, в любой ситуации есть и должны быть те, которые «за», и те, которые «против». Есть спор,

есть поиски чего-то более правильного, более приемлемого. Это бывает — и политическая позиция, и неполитическая, научное, моральное разномыслие — это есть и должно быть.

Кроме них и кроме этого, существует, может быть, воображаемая позиция разума, который обобщается в понятии интеллигенции, иногда не существующей. И это научная позиция. Она должна понимать, что происходит, она должна быть независимой в своих размышлениях, она должна видеть разные стороны того, кто «за», и того, кто «против». Дело в том, что у нас все говорят, что нужна бы оппозиция. И по данным опроса, почти 60% (в том числе и те, которые голосуют за «Единую Россию» и любят президента). Вроде как галстук — чтоб красиво было, особенно витрина чтобы выглядела. Почему нет? Сидела бы, потихоньку бы вякала. А у нас ее смело — это очень серьезное явление.

Беда в том, что, когда мы рассуждаем в плоскости политики, то те, которые «за», и те, которые «против», неизменно качаются на одних качелях. Позиция науки в несколько идеализированном виде состоит в том, что надо видеть дальше, глубже и свободнее, чем видят те, которые «за», и те, которые «против». И я стараюсь всю жизнь в основном держаться на ней, хотя нельзя при этом не быть человеком, гражданином и проч.

**Вопрос из зала.** Может ли социология делать какие-то объективные выводы, более или менее объективный прогноз? Вы большей частью рассуждали о возможности социологии анализировать настоящее и прошлое — таким образом, социология становится просто внутренней дисциплиной науки истории. Существует ли какая-то область объективности в социологическом познании?

**Левада.** Под словом «объективность» Вы, наверное, имели в виду приближение к истине, к научности. По роду профессии мы собираем субъективные мнения разнообразных людей. Но эти мнения мы стараемся обобщить, проанализировать и превратить в некоторые общезначимые положения. Если они правильные, может быть, это можно называть словом «объективные» — как хотите. Но они отличаются от чего-то эфемерного. Я старался об этом говорить сегодня, но, конечно, в кратком виде и, может быть, не всегда достаточно ясно.

**Людмила Вахнина («Мемориал»).** Я всегда внимательно следила за социологическими данными и помню, что в те самые конец 1980-х — начало 1990-х было примерно такое соотношение: две трети — за демократов, треть — за коммунистов. Как мы ухитрились дожить до обратного соотношения? Причина в том, что наша элита действительно являет собой пример этой самой атомизации: как только человек попадает на какое-то статусное место, он забывает тех, кто его вынес на поверхность.

В 1995 году мне удалось увидеть и другую сторону. Я в течение нескольких лет много ездила по стране и знакомилась с организациями так называемого третьего сектора. И когда пыталась рассказать об этом политикам и журналистам, мне говорили: «Не может этого быть». Почему-то и элите, и так называемому «простому народу» хочется все отрицать: нет гражданского общества, нет антивоенного движения, которое в первую войну было достаточно серьезным. Это желание верить, что ничего у нас нет, присуще и журналистам, и политикам. Может ли социология в несколько

укрупненном виде посмотреть на отношение элит и того, что называется массой?

**Левада.** Мы пытаемся смотреть и будем смотреть. Вопрос о том, почему у нас казалось, что в первую чеченскую войну у нас было антивоенное движение (я слово «казалось» подчеркну), а сейчас даже и не кажется. Это очень любопытная проблема, потому что даже если и было, то куда оно делось? Куда делись люди, которые надеялись на изменение характера и нашей политики, и наших масс-медиа, и нашей публики. Но это сейчас уже нет возможности рассказать.

**Вахнина.** Я одна из этих людей, я правда никуда не делась, но я знаю этих людей. Они делись, потому что их не видели, не хотели видеть.

**Левада.** Можно и так объяснять в том числе.

**Леонид Дунаевский.** На самом деле, всякие науки (в том числе и социология) питаются в значительной степени прошлым материалом. Каким будет общество через 15-20 лет, когда будет реально и доступно, скажем, бессмертие человеческое, в общем, никто не знает...

**Левада.** Вы большой оптимист. Или пессимист?..

**Лейбин.** Мы сегодня попытались обсудить гражданские, теоретические, социологические основания того, как мы можем оценочно отнестись к эмпирическому материалу. Мне казалось, что если бы мы в явной форме социологическую гипотезу, которая не оправдалась и печалит, обсудили, то тогда бы, возможно, мы могли бы продвинуться к некоторым другим гипотезам о нашем обществе.

**Левада.** Спасибо тем, кто слушал, особенно тем, кого это задело, заинтересовало. Может быть, задумаетесь, меня поругаете, что-нибудь другое предложите. А я, со своей стороны, постараюсь работать, пока живу, в этом направлении и смежных с ним. Я думаю, что с точки зрения трезвого социального анализа много чего любопытного можно увидеть сегодня и можно будет увидеть еще.

Предсказаний не делаю. Основ для взрыва ближайшего или хотя бы в ближайшей перспективе не вижу. Но вижу узлы нестабильности, вижу разломы, вижу точки не только научного, но, возможно, и социального интереса. Что из этого выйдет? Надо будет поглядеть, подумать. Надеюсь, что такая возможность тоже будет.